

Неизвестная война

Есенин, конечно, зря романтизировал Махно. Поздняя махновщина, несмотря на ряд блистательных военных операций, «дипломатическую миссию» в Харькове и причастность к разгрому Врангеля, более чем когда-либо лишена романтики. Разве сравнишь пламенный 1918 год с 1920-м? Тогда в каждой фразе, выкрикнутой на митинге, трепетало будущее. Теперь уж не митинговали. Шла черная тяжелая работа: громили коммунистические учреждения. В одном селе, в другом, в третьем. День за днем. Тачанки, листовки, кровь. Безостановочное, многомесячное движение... Кающийся анархист Иосиф Тепер, стараясь выслужить прощение, назвал махновщину 1920 года «гигантской садистской организацией». Такова уж доля ренегата – обливаться грязью то, чему раньше служил. И Тепер написал выдающуюся по подлости книгу.

Но сколько бы лжи он ни вложил в бумагу, правда от этого не становится менее драматичной. В сущей тьме начал Махно 1920 год. Впереди – ни просвета, ни надежды. Но в его борьбе есть одна несомненная правда – правда не желающего быть пригнутым и поверженным на землю сильного дерева. Дереву нельзя объяснить, что сопротивление бесполезно, что оно так или иначе будет сломлено, спилено и использовано для изготовления гробовой доски, багета или сидений для нужников. Дерево обречено сопротивляться – тросу, пиле, динамиту. Сопротивление неизбежно.

Так же неизбежно было возобновление махновщины, крестьянский взрыв в 1920–1921 годах. Виктор Белаш в своих показаниях ЧК говорил, что если бы не красный террор в деревнях, махновщина в 1920 году не возобновилась бы. Однако сам террор был следствием процесса куда более масштабного. Я бы назвал его чиновничьим унижением единоличного крестьянства, превращением его во вспомогательный государственный класс. Крестьяне сделали свое дело в революции, придав ей колоссальную разрушительную стихийную мощь. Теперь их нужно было обуздать, а для этого, говоря языком блатных, – «опустить», то есть так унижить, запугать, измарать в грязи, чтобы они забыли мечту о своем крестьянском рае, более того, забыли человеческое достоинство свое, всякое свое «право».

О том, что так следует поступать, ни у одного из большевистских теоретиков впрямую не написано. Но так получилось. Почему глава Совнаркома, Ленин, так не любил единоличников, непонятно. Но он их действительно не любил. Его раздражали стихия, рынок, неуправляемость. Своеволие единоличника раздражало. Он называл это «мелкобуржуазностью». В крестьянстве была некая независимая от большевиков сила. Ленин не мог этого стерпеть.

Махновщину 1920 года, как и все крестьянские выступления того времени, принято называть кулацким движением. Это неверно. Кулаков, деревенских «буржуев», нанимателей рабочей силы, революция за два года перемолола – и сами же махновцы в этом немало поусердствовали еще в 1918-м. В деревне к двадцатому году остались середняки,

«крестьяне». Патология ленинизма в том и заключалась, что и их большевики мечтали «опустить» до уровня сельскохозяйственного пролетариата. Ленин надеялся сделать это при помощи комитетов бедноты и специально вымуштрованных отрядов.

Крестьянство не могло не сопротивляться этой политике. Оно было, несмотря на все бедствия и потери Гражданской войны, еще слишком сильно, слишком независимо. Оно отстаивало перед белыми свои права с оружием в руках. Оно было огромно и сознавало свою огромность.

«Умереть или победить – вот что стоит перед крестьянством Украины... Но все умереть мы не можем, нас слишком много, мы – человечество; следовательно, мы победим, – так переживал это чувство огромности Махно. – Победим не затем, чтобы, по примеру прошлых лет, передать судьбу свою новому начальству, а затем, чтобы взять ее в свои руки и строить жизнь свою своей волей, своей правдой» (2, 56). Была для достоинства трудящегося на земле человека какая-то издевательская оскорбительность в том, как городские чиновники ничтоже сумняшеся распоряжаются плодами труда его, не признавая даже человеческого языка в общении с ним, а непременно суя в деревню штык продотряда. Была чудовищная несправедливость в том, что подметил Аршинов: «Многомиллионное крестьянство любой губернии, положенное на чашку политических весов, будет перетянуто любым губернским комитетом партии...» (2, 71).

В силу этих причин с весны 1920 года пошла сначала тлеть, а потом полыхать по России и Украине новая война – последняя война крестьянства за свои права. Крестьяне проиграли ее. Проиграли на полях решающих сражений 1921 года, проиграли и политически. И хотя нэп – своеобразный мирный договор, знаменующий конец этой войны, был как будто заключен с учетом интересов обеих сторон, в 1929 году, когда у крестьян стали обратно забирать землю под колхозы, выяснилось, что тогда, в 1920-м, они проиграли-таки окончательно: отстаивать их права перед правительством СССР оказалось некому, да и сама деревня была не та уж, что десять лет назад. Десять лет государственного издеательства над «кулаком» миновали недаром, сталинское «раскулачивание» прошло как по маслу, ни одного настоящего восстания не поднялось, хотя в первый же год «сплошной коллективизации» триста пятьдесят тысяч семей (порядка 1,8 миллиона человек) вырвали из земли с корнем, все отбирая у них, и погнали в Сибирь с прицелом на гибель после производственного употребления «в лесной и горнодобывающей промышленности». Уже деревня растлена была завистью, предательством, страхом, халявой экспроприации. Единицы только сопротивлялись.

Но восстания Сталин опасался, конечно, всерьез.

Как-то мне попало в руки охотничье ружье тульского оружейного завода с клеймом 1926 года. Странное это было ружье, капсюльное, заряжающееся с дула, причем одностволка: чтобы перезарядить такое ружье, даже при наличии отмеренных пороховых зарядов, потребна, наверно, минута. Для охотника это – бесконечно долгое время. Почему завод не выпустил оружие посовременнее? Решительно никакого объяснения не мог найти я этому факту, пока не подумал: нарочно. Было, видимо, дано заводу указание. Чтоб не гуляли по стране скорострельные ружья, нарезные стволы, двух-стволочки... Свеж, свеж был в памяти

1920 год...

Начинался он, однако, с затишья, последовавшего после разгрома Деникина и Колчака. Махно болел тифом. Будущий предводитель антоновщины – крестьянской войны в Тамбовской и Воронежской губерниях, – эсер Александр Антонов в феврале 1920 года оказался прямо-таки в нелепом положении: пусть он со своей «дружиной» в 150 человек и оказался неуловим для спецотряда, прибывшего из Саратова, но особой нужды в нем в народе тоже не ощущалось. Да в довершение ко всему ЧК, отчаявшись уничтожить Антонова, стала распространять о нем порочащие слухи и, в конце концов, умудрилась глубоко обидеть его, сравнив бывшего начальника уездной милиции (а Антонов знал свое дело, будучи на этом посту) с бандитом-уголовником Колькой Бербешкиным. Этого оскорбления стерпеть Антонов не мог. Рассвирепев, антоновцы выследили банду Бербешкина и беспощадно истребили ее до последнего человека, о чем Антонов специальным письмом уведомил своего преемника, начальника кирсановской уездной милиции, подчеркнув, что он политический противник большевиков, а не уголовник. Антонов оправдывался перед коммунистами?! Да, был такой эпизод. Время для политического противления еще не пришло – весной 1920-го Антонов исчезает, растворяется, как Махно в начале зимы. Его не могут обнаружить. Выездная сессия Губчека, созданная для его поимки или уничтожения, потеряв следы его отряда, уезжает обратно в Тамбов...

Медленно, медленно пожар разгорается. Первые вспышки на средней Волге – «вилочный мятеж»: 50 тысяч восставших в трех губерниях. Затем – Украина. В самом конце февраля, едва оправившись от тифа, поднимает голову Махно. 26 февраля на кратком митинге в Святодуховке он призывает начать с большевиками такую же беспощадную борьбу, как против гетмана и австрогерманцев в 1918-м. На что он рассчитывает, когда крестьянство освобождено от власти Деникина и, по всякому расчету, не должно бы поддержать выступление? Это важно понять, иначе вся картина искажается и выходит, что семьдесят человек закоренелых головорезов своей волей подняли войну на всей Левобережной Украине. Но так не бывает в истории. Для войны нужны причины поважнее.

Одну из них мы упоминали уже – террор. Масштабы его трудно представить. Этот вопрос нуждается в специальном исследовании. В нашем распоряжении лишь ряд подходящих к месту цитат о конфискации оружия под угрозой расстрела заложников, о расстрелах заложников, активистов махновского движения и «вольных советов»...

В мемуарах советского генерала Петра Григоренко, изданных в Париже в 1980 году, автор, в 1920 году бывший молодым красным командиром, вспоминает, что долго не мог поверить в рассказы о зверствах чекистов, творимых за спиной армии, только что мирно прошедшей через партизанский район. Слухи о массовых расстрелах в Новоспасовке поразили его. «Я упорно не верил этим слухам, – пишет он. – В 1918 году Новоспасовка восстала против белых и героически оборонялась от них до тех пор, пока армия Махно не высвободила ее из окружения. Тогда деревня, в знак признательности батьке, снарядила ему на фронт два полка пехоты... Я не мог поверить в то, что революционная власть способна истреблять людей, которые так храбро сражались за революцию. Однако, как я впоследствии узнал, свидетели говорили правду: в Новоспасовке каждый второй мужчина, способный носить

оружие, был расстрелян чека. Вчера восстали против белых – завтра восстанут против нас – так, по-видимому, рассуждали наши вожди. И, надо сказать, своими злодеяниями они весьма приблизили этот момент...» (94, 216).

Конечно, всякие цифры нуждаются в уточнении. Но совершенно ясно одно: вылазки Махно в феврале—марте 1920 года были реакцией на какую-то очень острую боль в деревне. К апрелю Махно окреп. Начинаются регулярные налеты его отрядов на расквартированные в селах советские учреждения и подходящие с востока на открывшийся польский фронт красноармейские части. Проход частей Первой конной с Северного Кавказа в район Ковеля вызвал свирепую вспышку бандитизма: армия безжалостно реквизировала лошадей и фураж. Батькины силы быстро возрастали. Когда 28 апреля кавдивизия Пархоменко атаковала Махно в Гуляй-Поле, у него было уже две тысячи человек и три орудия. Махновцы будто бы боя не выдержали и отступили. 6 мая екатеринославские «Известия» опубликовали даже заметку о пленении Махно и его штаба частями Первой конной, то есть пархоменковской же дивизией – но это была ложь. Или даже дезинформация: Пархоменко очень нуждался в рекламе. Ему нужно было срочно отмыться от тяжелейшего обвинения в организации еврейского погрома в Ростове-на-Дону, когда Первая конная проходила Ростов, а он, как назло, оказался комендантом города и не сдержал разгорячившихся бойцов. Ворошилов настоял на том, чтобы отдать Пархоменко под трибунал, который приговорил его к расстрелу. Спасся Пархоменко только благодаря вмешательству Сталина и Орджоникидзе, так что ему просто необходимо было срочно набрать очки и вернуть славу боевого командира.

Как бы то ни было, через четыре дня после сообщения о его пленении Махно со своей армией тронулся на север – в Полтавскую и Харьковскую губернии – и на протяжении двух месяцев кромсал красный тыл в самый разгар польской войны и врангелевского наступления... В июле 1920-го вспыхнул мятеж в Саратовской губернии. Возглавил его левый эсер Сапожков, командир девятой кавдивизии, часть которой заявила о неподчинении верховному командованию и своем преобразовании в «Красную армию правды», выдвинувшую лозунги свободы Советов и свободы торговли. Повстанцы взяли город Бузулук, повели бои за Новоузенск и Уральск. Сапожковский мятеж продолжался недолго, подавляли его решительно и жестоко – впервые, быть может, за всю историю Гражданской войны карательные части устраивали расправы в селах, которые еще не присоединились, но могли бы присоединиться к Сапожкову на пути следования его «армии правды». 6 сентября в бою с курсантами Борисоглебских кавалерийских курсов у озера Бак-Баул Сапожков был убит, а его отряды разгромлены. Отдельные их клочки в качестве уже чисто бандитском прозлодействовали до 1922 года. Однако эта вспышка в виде каких-то фантастических отсветов достигла белого стана в Крыму, и в разведсводках врангелевской армии появилось сообщение перебежчика о мятеже целой армии «зеленых» на Волге, о «фронте» повстанцев, простершемся будто бы от Казани до Царицына и, одновременно, о восстании буденновцев и жлобинцев против коммунистов (80, оп. 1, д. 23, л. д. 356).

Белым хотелось верить, что в красном тылу непорядки, поэтому и верилось преувеличениям, и явной небывальщине верилось. Махно приписывали сорокатысячную армию, к осени 1920 года в России ждали какого-то небывалого, всепожирающего крестьянского восстания, в котором должна была сгинуть ненавистная большевистская

власть.

Надо сказать, что, помимо эмоций, основания для надежд подобного рода были: сами крестьяне с тяжелым сердцем чувствовали, что не миновать. Эта обреченность легко улавливается в строчках писем: «Мы ожидаем реквизицию хлеба. Вот тогда начнется истинная крестьянская война». Из Тамбовской губернии определенно тянет паленым: «У нас было восстание народное, много пострадало от этого, пожгли же и побили, в селе сгорело около сотни домов». Другое письмо, оттуда же: «У нас восстание... Деревня Пузители в 20 верстах от Тамбова – идет на Тамбов». Опять оттуда: «В Погалуково взбунтовались мужики, и для усмирения послали из города Егора с отрядом. Он побил всех бунтовщиков и сам убит». Обрывочные фразы, сохранившиеся благодаря старательности цензоров 4-й армии, составлявших на основании писем, получаемых красноармейцами, сводки о настроениях в тылу, рисуют нам начало того, что позже стало именоваться «антоновщиной» (78, оп. 1, д. 16, л. д. 6).

Восстание началось в августе, когда стали известны невыполнимые объемы продразверстки, определенные для Тамбовской губернии. В Кирсановском, Борисоглебском и в Тамбовском уездах в довершение ко всему была засуха и неурожай, отдать хлеб означало помереть с голоду. 21 августа пришедший в село Каменка продотряд был разгромлен крестьянами, а вслед за ним – и пытавшийся прийти ему на помощь отряд по борьбе с дезертирством. Поднялись соседние села. Однако в три дня их «пожгли же и побили» разного рода спецчасти, направляемые в деревню на время хлебозаготовок. Когда же к исходу 24 августа Александр Антонов со своей дружиной подоспел в окрестности Каменки, село было занято сильным красным гарнизоном, а восставшие разбиты и распылены по окрестностям. Антонов собрал их и увел в Кирсановский уезд, где и вооружил хорошенько винтовками из тайников, устроенных им и его сподвижниками еще в 1918 году в лесах и болотах по берегам реки Вороны. Осенью в армии Антонова было уже двадцать тысяч человек. В январе 1921 года, когда «на борьбу с антоновщиной» в очередной раз собирались лучшие военные и партийные силы, – пятьдесят тысяч. Восстанием была охвачена территория, равная вместе взятым Бельгии и Голландии.

В конце 1920-го большие и малые мятежи горели по всей стране. Все интервенты, все белые были разгромлены, но сотни тысяч красноармейцев были вовлечены в борьбу с «внутренним» врагом. Пика своего эта борьба достигла уже за пределами года: в январе 1921-го на площади, равной чуть ли не половине Европы, вспыхнул и на месяц разорвал страну пополам так называемый Западносибирский мятеж (Тюменская, Омская, Оренбургская, часть Челябинской и других прилежащих губерний). Восставших было не менее ста тысяч, они сформировали четыре армии, командовал которыми поручик колчаковской армии эсер Родин. Сбить пламя восстания удалось только отменой продразверстки, но истощилась энергия мятежа только к лету.

Ни в 1920-м, ни в 1921-м Ленин отнюдь не был сторонником «смягчения» партийной линии по отношению к крестьянству. Продразверстка – перманентная экспроприация мелкой буржуазии – его, по-видимому, вполне устраивала. Есть факты, впрямую свидетельствующие о том, что в самый момент Кронштадтского мятежа он все еще отдает предпочтение мерам сурового принуждения крестьянства, не думая об экономическом

компромиссе. Неизбежность кровопролития Ленина, очевидно, не смущала: до некоторых пор он просто был убежден, что созданные в деревне «комитеты бедноты» плюс Красная армия осилит сопротивление «кулачья». Вот пример достаточно красноречивый: 1 марта 1921 года начался Кронштадтский мятеж. На Якорной площади Кронштадта команды мятежных кораблей Балтфлота голосуют резолюции с требованиями перевыборов Советов, свободы торговли и свободы деятельности всех левых социалистических партий. 2 марта – создан Кронштадтский ревком. В тот же день Ленину становится известно о телеграмме, присланной в Наркомпрод с Украины, в которой прямо указывалось, что снабжение Красной армии становится «почти неразрешимой задачей» из-за налетов банд Махно и что надо бы от налогов отказаться, чтобы крестьяне поуспокоились. И что же? На следующий день Ленин эту телеграмму пересылает Троцкому с необыкновенно для нас важной ремаркой: «Очень интересные вещи. По-моему, украинские коммунисты не правы. Вывод из фактов не против налога, а за усиление военных мер к полному уничтожению Махно и т. п.» (46, т. 52, 88). Характерно пренебрежительное «и т. п.». И т. п. – это сотни тысяч человек, восставших по всей стране. Ленин требует их полного уничтожения. Совершенно очевидно, что он не представляет себе масштабов резни, формулируя, по своему обыкновению, вопрос чисто рационалистически. Нужно было что-то воистину ошеломляющее, чтобы вразумить вождя мировой революции.

Вразумляющим фактором стали, по-видимому, открывшиеся ему подробности Кронштадтского восстания, хотя из всех мятежей оно было самым бескровным, скорее напоминающим вооруженную демонстрацию. Но, во-первых, восстали части регулярной армии. Во-вторых, восстали организованно, дружно: в ревкоме были и анархисты, и меньшевики, и эсеры. Были сформулированы четкие лозунги. В руках у матросов были линкоры, а не вилы. И они могли не только разгромить, разбить из двенадцатидюймовых орудий какой-нибудь уездный городишко – они могли взять власть. Ведь в двух шагах был Питер, Питер!

Ленин испугался. Испугался, когда узнал о неудачной попытке с ходу подавить мятеж. Она провалилась в тот самый момент, когда в Москве шел X съезд РКП(б). И Ленин изменил точку зрения. Он призвал к новой политике. Он убеждает партийный форум, что кое-какими принципами придется все-таки поступиться. Ибо «мы оказываемся втянутыми в новую форму войны, в новый вид ее, который можно объединить одним словом: бандитизм... Эта мелкобуржуазная контрреволюция, несомненно, более опасна, чем Деникин, Юденич и Колчак, вместе взятые, потому что мы имеем дело со страной, где пролетариат составляет меньшинство...» (46, т. 43, 10–24). Смысл высказываний Ленина прост: сила силу ломит, не выйдет напролом, придется в обход...

Однако это признание и провозглашенную затем политику нэпа от описываемых нами событий отделяет целый год той самой войны, которая для большевистской власти оказалась страшнее всех белых генералов, вместе взятых. Мы очень мало знаем о ней. Вряд ли многое вообще можно узнать: она оставила слишком мало материала, из которого пишется книжная история. Ни документов, ни фотографий, ни воспоминаний почти нет. Не то что у белых: горы мемуаров, тонны архивных документов, статьи, эссе, книги. А тут – ничего. Сырая порода. Кое-что вылавливается из советских архивов, но эти сведения разрозненны. Но даже если и свести их воедино, цельной картины не сложится. Это не

история, а какой-то кровоточащий хаос, бесконечный перечень жестокостей и кровопролитий. Какое-то бессмысленное мельтешение, как бы остановка исторического времени. Поток революции уперся в неразрешимую проблему. Но время-то идет! Растет напряжение. Когда оно сделается непереносимым, время найдет слабое место и хлынет в промоину...

Но целый год до этого – подспудное, тайное брожение, тайная война без гениальных полководцев и решающих битв... Кое-какие напоминания об этой войне все-таки сохранились: на юге Воронежской и в Тамбовской областях встречается род плоских курганов, похожих на братские могилы Пискаревского кладбища. Старики знают, что курганы эти насыпаны на полях брани – где войска Тухачевского сшибались с «армиями» Антонова. Но курганы немые... Именно «немота» этой войны, неуловимость голосов из прошлого как-то особенно потрясают исследователя. В сущности, здесь-то и начинаешь по-настоящему понимать, что история – это не резолюции съездов и не законы, тогда-то и тогда-то принятые правительством. История – это незаметное движение миллионов. Им нет числа, нет имени. Но они были. И был бунт, и были каратели. Мужики ушли в лес и стали бандой. Ночью, отогреваясь от октябрьских заморозков, мужики жгли костер. Ночью же совершали убийства, тяжело дыша и удушливо матерясь. Через год бандитов, озверевших и потерявших человеческий облик от лесной волчьей жизни, выследили молодые симпатичные курсанты из Питера. У бандитов остались в наполовину сожженной деревне вдовы и дети-сироты.

Для чего это совершилось?

Дерево сопротивлялось. Оно сдерживало напор истории до тех пор, пока та не изнемогла и не отступилась...

Вдруг из этой немоты прорезывается голос. Совершенно неожиданный. Благодаря этому голосу оживает, рисуется кусочек прежней жизни. В конце марта 1920 года на одной из бесчисленных, разбитых копытами дорог Украины красноармейский разъезд остановил подводу, в которой ехали две молодые женщины в крестьянских кожухах. Красный командир поглядел на смиренных бабонек и велел выпрягать коней.

Выпрягли коней.

Бойцы отряда еще пошарили в телеге – не сыщется ли что-нибудь этакое? Ничего подозрительного не нашли, но прихватили женские пожитки. Когда стали делить захваченное, на дне фанерного чемоданчика обнаружилась тетрадь в черной клеенчатой обложке. Дневник. Начинался он с записи:

«19 февраля (по новому стилю) 1920 года. Сегодня утром выехали из с. Гусарки. Часов в 11 утра приехали в с. Конские Раздоры. Тут наши хлопцы разоружили человек 40 „красных“. Из этого же села к нашему отряду присоединилось несколько хлопцев. Стояли здесь недолго, часа три, после чего поехали в Федоровку...»

Вот тут, насколько я себе это представляю, у читавшего должно было екнуть сердце, он должен был сильно сглотнуть, прежде чем прочитать потом далее:

«...Красноармейцы не очень сильно протестовали и быстро сдавали оружие, начальники же защищались до последнего, пока их не убили на месте...»

Тут уж у меня не хватает фантазии представить, что происходило с читавшим, ибо должна была впитаться в душу ему тоска приближающейся догадки:

«...Замерзли и устали наши хлопцы, пока завершили это дело, однако наградой за этот труд и муки у каждого повстанца было сознание того, что и маленькая группа людей, слабых физически, но вдохновленных одной великой Идеей, может делать большие дела. Таким образом, 70–75 наших хлопцев за несколько часов одолели 400–450 врагов, убили почти всех командиров, забрали много винтовок, патронов, пулеметов, двуколок, лошадей и так далее. Завершив дело, хлопцы разошлись кто куда. Кто пошел спать, кто домой, кто – к знакомым. Мы с Нестором тоже поехали к центру. Кое-что купили, кое-кого навестили и вернулись на свою квартиру...» (41, 1).

«Мы с Нестором...»

Не знаю, что случилось с красноармейцами, когда они поняли, кого упустили. Жену Махно, «матушку Галину»! Была снаряжена погоня. Но женщин не нашли. Позже дневник попал в руки ЧК. Для того чтобы не афишировать некоторые двусмысленные подробности этого злосчастного случая, была придумана романтическая история о том, что бойцы подобрали тетрадь на поле боя, возле трупа убитой батькиной любовницы.

Это было вранье. Вообще, зарубежным историкам и многим критически мыслящим советским исследователям «дневник жены Махно» долгое время казался фальсификацией. В литературе двадцатых годов из него цитировалось буквально считаное количество фраз, всегда одних и тех же, представляющих батьку в обличье, для красной пропаганды чрезвычайно выгодном:

«...Еще с Новоселки батька начал пить. В Варваровке совсем напился как он, так и его помощник Каретник. Еще в Шагрово батька начал уже дурить – бессовестно ругался на всю улицу, верещал, как ненормальный, ругался и в хате при малых детях и при женщинах. Наконец, сел верхом на лошадку и поехал верхом в Гуляй-Поле. По дороге чуть не упал в грязь. Каретник же начал дурить по-своему – пришел к пулеметам и начал стрелять то с одного пулемета, то с другого...» (40, 7).

Да если б и не было такого дневника, ради этой сцены его надо было бы выдумать большевистским переписчикам истории! Махно, кстати, тоже отрицал существование этого дневника, который выставлял его далеко не в розовом свете. Дневник, однако, существовал. Он писался урывками всего 40 дней, часть записей сделана явно в отсутствие батьки, так что о документе такого рода он мог и не знать. Уже в старости Галина Андреевна подтвердила его существование в письме гуляйпольскому краеведу Кузьменко: «Дневники я вела, и один из них действительно был взят красноармейцами вместе с моим чемоданчиком. Писался дневник в общей тетрадке, сверху покрытой черной клеенкой и подписанной рукой Фени Гаенко. Это была ее тетрадь... Интересно, где она теперь хранится, я ее с интересом прочла бы» (42).

В начале 1990-х годов дневник был разыскан в тогдашнем ЦГАОРе (ныне – Государственный архив Российской Федерации), заново переведен с украинского на русский язык и опубликован. Дневник охватывает совсем небольшой промежуток времени – с 19 февраля по 27 марта 1920 года, – открывающийся первым удачным налетом маховцев на Гуляй-Поле и завершающийся тревожным мартом, когда вокруг Махно постепенно стягивается сила большого отряда. Записи не претендуют на обобщения, но в этом есть прелесть. Нам бы никогда не увидеть пьяного и жалкого Махно, если бы не дневник «матушки Галины». Но нам бы никогда и не узнать без этого дневника, что запил батька после того, как узнал, что в Гуляй-Поле во время неожиданного ночного налета красных схвачен и убит брат его Савелий. Скорбел о брате и мучился неразрешимую тоской, плакал о чистоте повстанческой идеи – и мстил, и рубил, и, может быть («равнодушие», «пустота», поминаемые в дневнике), втайне проклинал революцию, сделавшую его врагом всему человеческому?

Запись от 7 марта: «Приехали в Гуляй-Поле. Тут под пьяную команду батьки начали вытворять нечто невозможное: кавалеристы начали бить нагайками и прикладами всех бывших партизан, каких только встречали на улице... Все вышли, смотрят на приехавших, а приехавшие, как дикая орда, несутся на конях, ни с того, ни с сего начинают бить, приговаривая: „Это тебе за то, что не берешь винтовку“. Двум хлопцам разбили головы, загнали по плечи одного хлопца в речку, в которой еще плавал лед...» (41, 7).

13 марта: «Батька и сегодня выпил. Разговаривает очень много. Бродит пьяный по улице с гармошкой и танцует. Очень привлекательная картина. После каждого слова матерится. Наговорившись и натанцевавшись, заснул...» (41, 8).

Уже в Париже, прочтя отрывки из дневника жены в книге М. Кубанина, Махно специально останавливается на этой записи, чтобы доказать, что весь дневник – подделка. Ведь он, по собственному признанию, не играл на гармонии. Трезвый. А пьяный? Теперь уж сам черт не скажет нам ничего наверняка. Так или иначе, то, что казалось злобной карикатурой на Махно, должно соотнести с записями иного рода:

«...Проезжая через Федоровку, узнали, что сегодня там были 6 кавалеристов, которые просили приготовить 50 пудов ячменя и несколько печеных караваев...» (41, 5).

«Прибывши в Раздоры, узнали, что тут красные отомстили невинным раздорцам за то, что нами было убито тут пять коммунистов, – они расстреляли председателя, старосту, писаря и трех партизанов...» (41, 6).

«В Павловке стоят коммунисты, которые забирают у селян хлеб и прочее. Янисельцы и времьевцы очень встревожены и напуганы этим известием. Не сегодня-завтра и сюда ждать страшных гостей, которые придут грабить добытое тяжелым трудом крестьянское добро. Павловцы послали двух мужичков в погоню за батькой Махно, чтобы пришел со своим отрядом и помог селянам...» (41, 14).

Эти записи не нуждаются, собственно, в толковании. После сказанного ясно, что как бы ни пил и ни дурил Махно в то время, именно за ним пошлют крестьяне в случае беды: должен, должен был совершиться еще один обратный мах исторического маятника. Око за око, зуб

за зуб...

22 февраля в Дибривке к батьке присоединился бывший повстанческий командир Петренко, «который уже начал со своими хлопцами работу, хватая комиссаров и разоружая небольшие части... Встреча была радостная...» (41, 2).

25 февраля: «Все выжидают, пока коммунисты сильно допекут» (41, 3).

28 февраля: «Сегодня приехали к нам Данилов, Зеленский и еще несколько наших старых хлопцев...» (41, 4).

2 марта: «Вчера с гуляйпольского лазарета вышло хлопцев 8 и поехали с нами. Сестры милосердия тоже покинули лазарет, где оставались только красные, и тоже стали просить, чтобы мы их взяли с собой. Хлопцы взяли их. Ночью хлопцы взяли миллиона два денег, и сегодня всем выдано по 1000 рублей» (41, 5).

12 марта в Гуляй-Поле приехали любимец Махно Тарановский и 35 хлопцев с лошадьми, «только седла есть не у всех».

Медленно, по человечку собирается отряд. Но уже вновь – в результате ряда налетов и разоружения расквартированного в Гуляй-Поле 6-го полка, командир которого был убит, а бойцы распущены с предписанием в третий раз в плен не попадаться, – Махно становится хозяином в гуляйпольском районе. Остается объединить партизанские районы, связаться с Удовиченко под Бердянском, с Куриленко под Новоспасовкой...

Не все «хлопцы» выдержали испытание поражением. В греческом селе Большой Янисель радостная встреча с одним из видных махновских командиров Дашкевичем (полк которого в ноябре 1919 года первым ворвался в Екатеринослав) закончилась весьма печально. Оказалось, что Пашкевич растратил 4,5 миллиона денег, доверенных ему: устраивал балы, делал дорогие подарки любовницам, платил им по двести тысяч за визит... Партизаны-греки сказали, что с такими командирами воевать не будут. Этим участь Дашкевича была предрешена. Напрасно кормил он батьку чебуреками, напрасно, как встарь, выпивал с ним. На следующий день на митинге в селе Времьевка ждала его смерть. Он как будто не хотел верить в это, заговаривал то с рядовыми повстанцами, то с командирами. Галина Андреевна пишет с бесстрашием: «Он вежливо извинился и отошел от нас. Собрался идти домой. Его позвал Василевский, взял под руку, повел. Его арестовали и приставили патруль. Скоро приехал батька и прочие. В центре собрались люди. Дашкевичу связали руки и повели на площадь расстреливать. Гаврик, сказавший ему, за что, прицелился и взвел курок. Осечка. Второй раз – опять осечка. Дашкевич бросился удирать. Стоявшие тут же повстанцы дали по нему залп, второй. Он бежит. Тогда погнался за ним Лепетченко и пулями из нагана сбил его. Когда он упал, а т. Лепетченко подошел, чтобы пустить ему последнюю пулю в голову, он повел глазами и сказал: „зато пожил...“» (41, 13).

Эти беспощадные картины перемежаются зарисовками, в которых – вдруг – проглядывает живая человеческая душа, бесплодно томящаяся в пустоте и грусти, питаемой одной только ненавистью борьбы:

«...Снег почти уже растаял – остался только по балкам и по лощинам, а на пригорках уже просохло и выбивается из земли молоденькая травка. Озимые в степи начинают зеленеть. Вчера видела на поле мышью...» (41, 6).

В другом месте: «Из-под прошлогодних листьев пробился и расцвел голубенький цветочек, а там второй, третий. Мы начали собирать эти первые весенние цветочки (у нас их называют брандушками) – предвестники скорого тепла и солнышка. Сразу сделалось как-то легче на душе и веселее на сердце...» (41, 13).

И совсем уже пронзительно звучит ярко и с чувством написанный отрывок о том, как спасали оборвавшуюся с мостка в холодную весеннюю воду лошадь: «Долго возились вокруг нее... подтянули под берег, зовем ее „Воля! Воля!“ – а она лежит как-то боком, голову поднимает над водою, болтает временами ногами, стонет жалобно-жалобно, как человек, и поводит назад перепуганными глазами, которые налились кровью и словно умоляют о помощи. Полежала немного тихо, перестала барахтаться и замолчала. Снова стали ее тянуть и сгонять. Она застонала, встрепенулась, стала подниматься и снова упала. Через полминуты снова забила ногами, сделала сильное движение, встала на ноги и, глубоко погружаясь в тину, быстро пошла к противоположному берегу, возле которого был лед. Мы стали звать ее сюда. Она сделала в речке полукруг и вышла на этот берег. Ее сразу стали гонять, чтоб не остыла...» (41, И).

Если бы можно было монтировать книгу, как фильм, я одновременно с этим рассказом запустил бы параллельный звукоряд – бесстрастным голосом прочитываемый перечень:

«...Поймали трех агентов по сбору хлеба и прочего. Их расстреляли...»

«...Сегодня переехали в Большую Михайловку. Убили тут одного коммуниста...»

«...Выезжая с хутора, в степи в бурьяне нашли двоих, которые прятались тут с винтовками. Их порубали...»

«...Когда они разделись, им приказали завязывать друг другу руки. Все они были великороссы, молодые здоровые парни... Селяне смотрели, как сначала пленных раздевали, а потом стали выводить по одному и расстреливать. Расстреляв таким образом нескольких, остальных выставили в ряд и резанули в них из пулемета. Один бросился бежать. Его догнали и зарубили. Селяне стояли и смотрели. Смотрели и радовались. Они рассказывали, как эти дни отряд хозяйничал в селе. Пьяные разъезжают по селу, бьют нагайками селян, бьют и говорить не дают...»

«...Пообедав, наши все пошли гулять к реке. На берегу лежал убитый. Возле него собралось много людей. Когда мы появились на берегу, внимание людей было обращено на нас... Мы сели в лодку и переправились на тот берег. Постояв там немного, вернулись назад. Под берегом подурили немного, обрызгали кое-кого водой...»

«...Убили в лесу Михайловского повстанцазаграбежи и насилия, которые он творил в своем селе...»

«...Наломали в садике зеленых веточек, нашли в одном хлеве пару голубиных гнездышек...»

«...Убито двое...»

Убито двое – это словно запись в реестровой книге. Никакого чувства за нею не стоит – ни ненависти, ни сожаления. Это в начале антоновского восстания была ярость – всесокрушающая, слепая, бесформенная. Избыточность взрыва. А в махновщине 1920 года чувствуется привычка, какой-то холод крови. Полное равнодушие. Сама махновская армия в начале двадцатого года – это воплощенная смерть, отлаженная, как часовой механизм.

Попал в механизм белый офицер, «кадет» – смерть.

Комиссар – смерть.

Продагент – смерть.

Чекист – смерть безусловная.

Красный командир – тоже смерть, если только за него специально не просили бойцы.

Махновцы щадили многих, понимая, что избыточная жестокость не принесет им славы в войне. Но все-таки на какое-то время отряды Махно стали как бы карателями наизусть, уничтожавшими всех, кто от имени советской власти приходил в деревню с новыми порядками. Ибо порядки менялись.

5 февраля 1920 года вышел декрет Всеукраинского ревкома о земле – позднее большевикам пришлось признать, что он не был ни понят, ни поддержан украинским крестьянством. Теперь, в отличие от 1919-го, когда упор делался на совхозное землевладение, все бывшие помещичьи, казенные, монастырские и прочие подлежащие дележу земли, за исключением крупных свекловодческих и овощеводческих хозяйств, отдавались крестьянству. Но большевики не были бы большевиками, если бы уже в первоначальной редакции декрета не была заложена мина, направленная против собственника: первым делом – написано было в декрете – удовлетворяется нужда в земле «безземельных и малоземельных крестьян и земледельческих рабочих» (40, 131). Своеобразной данью за право пользоваться землей была продрозверстка.

В конце марта вышел еще разъяснительный циркуляр: чтобы землей наделять по трудовой норме на едока, а у кого больше, хоть бы он и не применял наемного труда, – отрезать в пользу общества.

Но самое важное: большевики поняли, что сами они воспринимаются в деревне как пришельцы и что своими силами им не решить даже самой ближайшей задачи – не изъять хлеб у крестьян, не накормить армию. Значит, нужно было деревню расколоть и заставить одну часть деревенского населения обирать и грабить другую. А для этого был только один путь – путь соблазнения бедноты. Соблазнить в 1920 году можно было только двумя вещами – властью и хлебом.

В мае 1920-го правительство Советской Украины издало декрет о «комитетах незаможных крестьян» (соответствующий декрету 1918 года о комбедах в России), согласно которому сплотившаяся вокруг партии беднота получала первоочередное право в наделении землей и долю от конфискованного у односельчан хлеба (от 10 до 25 процентов). Премьер украинского правительства Христиан Раковский назвал эту меру «одной из важнейших» на Украине. Действительно, провокация удалась. М. Кубанин в своей книге пишет, что к концу 1920 года в комнезамах Украины было 828 тысяч человек – почти миллион добровольных помощников партии! О таком успехе большевики прежде не могли и мечтать. Комитеты бедноты бескомпромиссно потрошили кулаков, реквизируя и перераспределяя скот, лошадей, зерно, сено, табак, сельхозмашины, землю.

Деревня на этот раз была разорвана, расколота непримиримой враждой. В резолюции I съезда комитетов незаможного селянства Украины, состоявшегося в конце 1920 года, сквозит совершенно разбойничий дух: «Кулацкое хозяйство должно быть ликвидировано так же, как и помещичье. Земля у кулака вся должна быть отобрана, его дом использован для общественных нужд, его мертвый инвентарь передан на прокатный пункт, его племенной скот сведен на случной пункт, а сам кулак должен быть изгнан из деревни, как помещик изгнан из своего поместья...» (40, 141).

Позвольте, но ведь это же никакая не экономическая политика... Это война на полное уничтожение!

Именно так. Именно. Классовая борьба тоже имеет свою абсурдную логику, свою мистику. Не могло крестьянство, трижды или четырежды ограбленное уже в ходе войны, не сопротивляться всему этому маразму. Почти неправдоподобно, что защитником самых сильных, самых богатых в деревне стал Махно – лютый экспроприатор и налетчик 1918 года, гроза помещиков и кулаков, каторжник, огнепускатель. Но в 1918-м грабили «чужих» – помещиков, настоящих кулаков, немцев-хуторян, которых он и его парни ненавидели. А в 1920 году должно было начаться нечто неправдоподобное – свои должны были ополчиться на своих, перетаскивать из хаты в хату добро друг друга, завидовать, предавать... Впервые, быть может, почувствовал Нестор Махно, что и его анархистской душе революция слишком просторна, что по-человечески нельзя так, надо остановиться, наконец, прекратить делить, грабить, делом пора заняться... Впервые в 1920 году, продолжая аргументировать именем анархии, он выступает как противник «революционных» преобразований большевиков в деревне, как охранитель. Вся махновщина того времени – это попытка охранить деревню от «новых веяний», не пустить туда то, что надумали, что несли с собою большевики.

Прежде всего – разврат комнезамов.

Председателю комитета в селе Доброволье Махно послал записочку, поразительную по краткости и убедительности содержания:

«Рекомендую немедленно упразднить комитеты незаможных селян, ибо это есть грязь» (40, 143).

Комнезаможи боялись Махно. Был случай в деревне Кушун, когда на сторону махновцев целиком перешел отряд комнезаможников «в количестве 30 сабель с 50 лошадьми» (44, 25). Это, конечно, исключение. Все, что проникало в деревню от большевиков, было глубоко ненавистно махновцам. Наталья Сухогорская пишет, в частности, что положение организованного под руководством большевиков гуляйпольского исполкома было прямо трагичным: опасаясь неминуемой смерти, члены его, закончив работу в селе, ночь проводили в бронепоезде, стоявшем на станции Гуляй-Поле (74, 61). Впрочем, и исполком, и бронепоезд не могли появиться в Гуляй-Поле раньше 1921 года, в двадцатом и бронепоезд бы не спас, еще слишком сильны были махновцы. Но уже не настолько сильны, чтобы побороть большевистские искушения. Большевики все-таки добились своего – деревня была расколота. Начиналось в ней нечто неопишное: «В Ряжской волости Константиноградского уезда, Полтавской губернии 30 комнезаможников были вырезаны кулаками за одну ночь. Оставшиеся незаможники в другую ночь вырезали 50 кулаков» (40, 143).

Весна двадцатого – конечно, самый мрачный период махновщины. Должно быть, Махно и сам понимал, что из героического партизана мало-помалу превращается в какую-то мрачную, угрюмую фигуру, какую-то мясорубку на тачанке.

Он пил (жестокость террора многих, надо сказать, приохотила к спирту) и в опьянении то умилялся яблоневою весной повстанчества, то вдруг низвергался в самую черную злобу. Если верить Н. Сухогорской, однажды, напившись, он ночью в неистовстве изрубил тринадцать пленных красноармейцев, которых по всем правилам следовало бы отпустить: махновцы ведь рядовых не убивали...

Возможно, он и сам тяготился ролью, которая пала на него, ролью карателя, которая низводила его с высот идеализма в ряды проклятых революцией. Единоверцы-анархисты предали его.

В январе, когда армия развалилась, а Махно был объявлен вне закона, окружавшие его штаб анархисты-набатовцы были частью арестованы, частью разъехались по городам. В феврале конференция «Набата» в Харькове приняла резолюцию о том, что Махно был в целом негодным руководителем движения, – и отмежевалась от него. Это было обычное политическое малодушие: в феврале Махно казался окончательно раздавленным, большевики же были в большой победной силе. Чтобы функционировать легально, «Набату» требовалось сделать ряд реверансов перед новой властью. Одним из таких реверансов было отмежевание от Махно, защитить которого на конференции было некому. С махновщиной крепко было связано не так уж много людей, большинство из которых, к тому же, сидело в тюрьме, как Волин. Для других набатовцев мужицкое движение, которым, по сути, всегда была махновщина, никогда не было близким. Они легко пожертвовали повергнутым Махно в угоду своим кружковым интересам. Большевиков такое положение вещей, по-видимому, вполне устраивало. Партизанское формирование в 100–200 сабель было для них куда опаснее, чем еще одна «федерация презренных пустомель» (выражение Ленина), на которую, к тому же, легко можно было в любой момент наложить лапу – о чем свидетельствовал опыт длительной дрессировки анархистов, оставленных на легальном положении в Москве и Петрограде после разгрома анархистских боевых дружин в апреле 1918 года. Однако ж весной 1920-го взоры набатовцев вновь устремились на Махно. С одной

стороны, выяснилось, что славный батька жив и с каждым днем набирает силу. С другой стороны, стало очевидным, что все политические разработки «Набата» остаются простым колебанием воздуха в прокуренных анархистских клубах и ни в грош не ставятся большевиками, которые терпели анархистов лишь в качестве декораций, но реально не допускали даже до выборов в низовые советы.

Как же тогда создать «истинную» советскую власть? Кто будет проводить в жизнь земельную программу «Набата»?

Кто вообще заставит большевистскую власть прислушаться к его надтреснутому голосу?

Апрельское совещание «Набата» (как будто не было февраля) постановляет: поддержать Махно. Задачу его отрядов анархисты видят в том, чтобы завоевать территорию, «на которой должны начаться эксперименты строительства бесклассового общества» (75, 13). На себя они готовы взять идейное руководство движением.

Махно ничего не знал про эти исторические решения.

10 мая, как мы отмечали уже, он начинает поход в Полтавскую и Харьковскую губернии, потом в Донбасс (одновременно отдельными отрядами оперируя в исконных своих районах) с единственной целью – выдрать из земли корни, которые успели пустить большевики. Должно быть, эта грандиозная карательная операция была поистине страшна: сил для организованной борьбы с Махно у красного командования в это время действительно не было, и батька со своими отрядами хозяйничал в деревнях, как хотел. 6 мая стало большевикам лихо: поляки взяли Киев, и до июля, когда наметился перелом в польской войне, напряжение боев на западе не спадало. В июне же начался выход врангелевцев из Крыма: как-то поразительно легко откупорилась перекопская пробка, и, хотя потом сразу пошли очень тяжелые бои, в которых белые так и не узнали продыху, 17 июня, так или иначе, Врангель уже выступал в «освобожденном» Мелитополе. Из числа красных частей сталкивались с Махно лишь части внутренней службы, чоновцы, да проходящие на фронт. Ни тех ни других он не боялся. Летом 1920 года у Махно было 5 тысяч человек – всадники и посаженная на тачанки с пулеметами «пехота». Армия была необыкновенно мобильна, хорошо вооружена, подчинена жесткой, расстрельной дисциплине. Карались грабежи и самовольные «реквизиции» у крестьян – благодаря чему Махно удалось добиться того, что по всей Восточной Украине в большинстве сел он мог, выслав вперед гонцов, оповещающих о его приближении, мгновенно поменять лошадей, получить фураж, людей, оружие.

Много размышлявший над загадкой фантастически быстрых «бросков» Махно командарм Роберт Эйдемман в конце концов вычислил все села, которые были постоянными конными «депо» Махно и делали его неуловимым для красной кавалерии, вынужденной гоняться за ним на усталых лошадях. Разведка была поставлена великолепно: благодаря своим агентам в деревнях махновцы знали все. Кроме того, той «светскости», которую армия приобрела было в период анархистской республики 1919 года, теперь в ней не было. Все решал штаб. Выборность старших командиров хоть и не была отменена официально, но больше не практиковалась. Реввоенсовет армии, когда-то признанный высшим авторитетом в республике «вольных советов», продолжал существовать, но явно в роли какого-то

рудимента: с тех пор как Виктор Попов сменил на посту арестованного Волина, – сложновато взять в толк, чем, собственно, Реввоенсовет занимался. Ибо Попов, конечно, был не из рода теоретиков. Так, перебивались по части культработы: листовки, несколько номеров газеты, спектакли в деревнях давали пару раз...

Зато штаб... Сохранилась фотография, запечатлевшая махновских командиров осенью 1920 года. Снимались без Махно, который в это время лежал раненый: Куриленко, Белаш, Щусь, Марченко, Каретников, Василевский. Ни следа «анархистской» бутафории 1918 года, никаких алых одеяний и голубых офицерских трофейных шинелей. Все скромно, по-военному. Хорошо подогнанная амуниция. Френчи. Галифе. Военная выправка. От красных – не отличить. На Белаше, правда, рабочий картузик. Франтоватого Щуся выделяет богатая портупея. Но в целом видно – бойцы. Поэтому, конечно, наивно было надеяться, что какая-нибудь проходящая часть случайно «накроет» Махно. Всех «случайных» Махно оглядывал, ощупывал – потом налетал и бил. Интересно наблюдение Н. Сухогорской – как в самом еще начале весны Махно разделался с отрядом курсантов, явившимся «ловить» его в Гуляй-Поле: «Мы им рассказывали, каков Махно по силе и по хитрости и что пеший конному не противник. Они только смеялись по неопытности... Было их человек 160. Махно нарочно подошел к ним поближе, затем заставил их погоняться за собой верст 40 и тогда только принял бой. Вернулось курсантов в село человек 30, не больше...» (74, 50).

То же самое повторялось потом в масштабах все более возрастающих: все лето 1920-го махновцы непрерывно подкарауливают и разоружают какие-то части – две тысячи убитых, тридцать тысяч взятых в плен, – расстреливают комиссаров и командиров (94, 229). Если с расстрелянными все ясно, то с пленными бывало по-разному. Обычно, налетая на красноармейскую часть, махновцы солдат не убивали, а предлагали служить у себя или, разоружив, отпускали на все четыре стороны. Можно было побывать в плену у Махно дважды, трижды даже. Какая-то была в этом вязкая безнадежность: махновцы устраивали митинги, взывая к разуму и сердцу солдат, крестьян и крестьянских детей. Ничего не помогало. Против него работала огромная машина военизированной республики Советов, которая вновь собирала отпущенных «на все четыре стороны» людей, комплектовала их, вооружала и вновь отправляла на войну. Махно требовал от людей выбора, он сам был человек выбора, сделанного еще в юности, – но почему-то ему не приходило в голову, что для большинства выбор – непосильное, страшное бремя, что большинство людей из здравого чувства самосохранения предпочитают существовать заодно с другими, не думая ни о каком выборе, не помня о нем. Махно срывался. Однажды в бою у села Голубовки он захватил в плен 75 красноармейцев, которые до этого уже были однажды им пленены, согласились служить у него, но в следующем же бою опять перебежали к красным. Узнав, что пленники из карательного отряда по борьбе с бандитизмом, Махно рассвирепел: «Вам все равно, служить у меня или у красных. Расстрелять!» (12, 161).

Особенную злость у махновцев вызывало, если вдруг случалось непокорство или неблагодарность крестьян: по разведсводкам 13-й армии, после неудачной попытки набрать добровольцев в селе Рождественское махновцы подожгли село и открыли по нему пулеметный огонь (12, 159). Тут надо оговориться: разведсводкам не всегда можно верить, тем более что в отношении Махно и у красных, и у белых по каналам разведки текла чистая небывальщина. Но нельзя отрицать и того, что в двадцатом году уже появились

«большевистские» села, которые надеялись за счет подчинения властям снискать себе мир и процветание. Нельзя отрицать и другого: что в махновщине 1920 года, как, впрочем, и в белом движении, и в большевизме той поры, все более сказывался какой-то трудноопределимый маразм – маразм предельного ожесточения и предельной усталости.

Явственнее всего он проявился в случае расстрела Феде Глущенко, хлопца из махновской контрразведки, который был зимой 1920 года во время развала армии захвачен в плен и, чтобы спасти себе жизнь, согласился служить ЧК. Летом вместе с напарником-чекистом его отправили в ряды повстанцев, чтобы «убрать» Махно. Однако, оказавшись среди своих, Федя немедленно изобличил напарника и чистосердечно рассказал, с какой миссией они были посланы. Махно выслушал его... и велел расстрелять. Дальнейшее Аршинов описывает так: «Перед смертью Федя... попросил передать товарищам-махновцам, что он умирает не как подлец, а как верный друг повстанцев, поступивший в ЧеКа для того лишь, чтобы своею смертью спасти жизнь батьки Махно. „Боже вам помоги“ – были его последние слова...» (2, 164).

Конечно, Махно мог бы остановить казнь. Он этого не сделал: значит, не доверял никому и хотел, чтобы другие боялись. И боялся сам. Вот в этом-то и ощущается маразм: в жестокости от боязни, от бессилия. Если со своим так расправились, то что же с чужими-то делали?

Понятно, что Махно не просто так боялся смерти, подосланных убийц. Наверняка ему было известно воззвание к крестьянам Екатеринославской губернии, подписанное Х. Раковским и Ф. Дзержинским, в котором они под вполне благовидным предлогом – отнюдь не за презренные полмиллиона, как Деникин! – предлагали его прикончить: «В прошлом году Махно, боясь конкуренции Григорьева, распорядился, чтобы его убили. Разве не найдется среди вас достаточно честного и мужественного революционера, который... не приложит к нему ту же кару?» (12, 162).

Время разными голосами, под разными предложениями просило крови – и лилась кровь, как по наговору.

12 июля рейдирующие отряды Махно вошли в село Успеновку. Здесь батьку ждала неожиданная, но приятная встреча. Его ожидали старые знакомые из «Набата»: Петр Аршинов, Яков Суховольский (Алый), Иосиф Тепер, Арон Барон. Анархисты поведали Махно о сущности своих апрельских решений и о той роли, которой наделяет его история. Махно выслушал их. «Набатовцы» в очередной раз делали на него ставку. Это было все же лучше, чем полная изоляция. Заработала секция пропаганды, опять, хоть и нерегулярно, стала выходить газета «Голос махновца».

Одно за другим печатаются воззвания: «Остановись, прочти, подумай!», «Товарищи красноармейцы фронта и тыла!», «Слово махновцев трудовому казачеству Дона и Кубани», «Товарищи красные солдаты!».

Пропаганда эта имела частичный успех. Александр Скирда в своей книге опубликовал редкий документ – листовку красноармейцев 522-го полка, перешедших на сторону махновцев, о чем наши исследователи не упоминают (Кубанин пишет о «пленении» полка,

умалчивая о листовке, которая впоследствии была перепечатана в анархистской газете «Волна», выходившей в 1920-е годы в Детройте). Листовка, меж тем, заслуживает внимания:

«Мы, красноармейцы 522-го полка, 25 июня 1920 без сопротивления и добровольно, со всей амуницией и вооружением перешли на сторону махновских повстанцев. Коммунисты... объясняют наш переход... разнузданностью и склонностью к бандитизму. Все это низкая и подлая ложь комиссаров, которые до сих пор использовали нас, как пушечное мясо. За время двухлетней службы в рядах Красной армии мы пришли к заключению, что всякий социальный режим в наше время опирается лишь на господство комиссаров, что в конце концов приведет нас к такому рабству, которого до сих пор не знала история...» (94, 232).

Воззвание заканчивается подписью: «Красноармейцы 522 полка, ныне махновцы».

В этих словах есть наивная жестокая правда. И все-таки этот случай – редкость. Интересно понять, почему во время крестьянских «войн» части Красной армии, в основном состоящие именно из крестьян, почти никогда не переходили на сторону повстанцев. Можно, конечно, все объяснить тем, что на подавление восстаний отправляли части особого рода: курсантов, «интернационалистов», проверенные и спаянные в боях части Красной армии, карательные отряды ЧОН и ВНУС. Но это очень пристрастное объяснение. От перехода на сторону повстанцев удерживал, конечно, страх: человеку со стороны, не вовлеченному в мятеж, не связанному с мятежниками узами крови и ненависти, обреченность восставших была, наверно, очень чутко ощутима. Все-таки вовлеченные в противоборство силы никогда не были равны – ни по количеству людей, ни по вооружению, ни по качеству питающих движение смыслов. Вот именно здесь нащупывается что-то очень важное, а именно: дух угрюмой безнадежности, который реял над повстанческими отрядами и отпугивал их потенциальных единомышленников. Их какая-то идейная скудость, возмещали которую только ненависть и жестокость. Но ненавистью спаять можно только ограниченное число людей, другим нужны более широкие, более просторные смыслы. Потому-то Ленин и устрасился Кронштадта, что там совершенно явно формулировалась внятная политическая идея многопартийной советской демократии и этическая идея отказа от диктатуры, идея человеческого братства, которой можно было объединить миллионы людей. Махновщина недотягивала до Кронштадта по уровню обобщения, хотя и стояла на голову выше других крестьянских движений, способных сформулировать лишь частные, а подчас откровенно погромные лозунги.

12 июля махновцы ворвались в городок Зеньков: первым делом убито 27 коммунистов, затем разграблены и разбиты продовольственные склады с запасами муки, соли, круп, сахара. В августе Миргород – то же самое, расстрелы и грабеж, вернее даже не грабеж, а какое-то бессмысленное уничтожение всего накопленного большевистской властью. Но не могло в голодном 1920 году такое глумление над хлебом насущным пройти за просто так, должно было аукнуться! Разрушая, махновщина несла в себе зерно саморазрушения. В этом смысле она была обречена. Если бы махновцам позволили строить свои «вольные советы», они, можно не сомневаться, вошли бы в историю совсем другим образом, с другим выражением лица – например, как странная революционная секта трудолюбивых восточнукраинских крестьян. Но этого не случилось. Вся энергия махновщины пережглась в ненависти...

Самый большой позор Махно 1920 года – «успеновская авантюра» – случился в августе, когда уже наступление белых стало угрожать территории махновского района. Тогда штаб Повстанческой решил не ограничиваться декларациями о своей революционности, а заслать в тыл врангелевцам рейдовую группу в 800 человек. Группа собралась в тылу красной 13-й армии возле все той же Успеновки, где махновцы повстречались с посланцами «Набата», но тут выяснилось, что в селе находится красноармейская часть и полевые кассы с крупными суммами денег. Поход в тыл Врангеля был отменен, махновцы налетели на Успеновку и, прихватив красноармейское жалованье, стали отходить, отстреливаясь из пулеметов. Ускользающие денежки придали задору красноармейцам, которые, крупными силами бросившись махновцам наперерез, истребили значительную часть отряда и чуть не захватили в плен самого Махно.

Анархисты из Реввоенсовета и секции пропаганды были возмущены батькиной авантюрой. Вновь, как и в девятнадцатом году, между идейным центром махновской армии и ее штабом стал назревать конфликт. Но если в 1919 году Волин не осмеливался, да и не желал, видимо, делать поползновения к замене Махно другим командиром, то возглавлявший Реввоенсовет в 1920-м Арон Барон такую попытку предпринял.

В самом конце августа в бою возле Изюма Махно был ранен в ногу, у него была раздроблена лодыжка. Несколько дней отряд вез раненого батьку на тачанке, пока, наконец, махновцы не вошли в Старобельск, где 3 сентября местный хирург прооперировал Махно и Василия Куриленко, тоже раненого в ногу. Врач сказал, что опасности для жизни раны не представляют, но болеть командиры будут долго и, по-видимому, не скоро сядут в седло (12, 167).

Арон Барон решил использовать этот шанс и потребовал от штаба повстанцев, чтобы боевые операции армии впредь согласовывались с председателем Реввоенсовета и другими представителями «Набата». У махновских командиров это вызвало шок: они всегда воспринимали набатовцев как своего рода прилепок к армии, делателей листовок и газет – но чтобы эти люди решали боевые вопросы?! Были недовольны и рядовые махновцы, которые тоже не слишком серьезно относились к «идейным» городским анархистам и, доверяя только своим «батькам», конечно, не потерпели бы, чтобы ими командовал совершенно им чуждый человек, какими бы революционными заслугами он ни обладал.[18]

Почувствовав неудачу своей антимахновской эскапады, Барон вынужден был заявить о своем уходе с поста председателя Реввоенсовета армии и уехать в Харьков, бросив знаменитую фразу:

– Лучше сидеть в советской тюрьме, чем прозябать в этой пресловутой анархистской обстановке... (75, 99).

В Харькове в начале сентября как раз проходила конференция «Набата», и Барон подоспел как раз к сроку, чтобы наговорить о Махно множество неприятных вещей и склонить своих товарищей к принятию весьма горькой резолюции: «Конференция считает нужным подчеркнуть, что крестьянские восстания последнего времени не революция, а бунт, и никаких изменений в общественных формах они не несут...» (40, 210).

«Набат» отрекся от Махно: «Два года борьбы против разных властей под руководством анархиста Махно выработали внутри (повстанческой армии. – В. Г.) некое ядро, которое усвоило лозунги безвластия и вольного советского строя. Это ядро составляет тип промежуточный между обычным бунтарем, инстинктивным искателем справедливости, и сознательным революционером-профессионалом. Работая в согласии с анархистскими организациями, это ядро могло бы стать одним из активных отрядов пропаганды анархистских идей. Этому мешает, однако, то обстоятельство, что стоящий во главе махновщины „батько“ Махно, обладающий многими ценными для революционера качествами, принадлежит, к сожалению, к тому типу людей, которые свои личные капризы не всегда могут подчинить интересам дела...» (40, 211).

Черт возьми, а прав оказался Ленин, прозывавший анархистов «пустомелями»!

Крестьян же, которые поставляли рекрутов в махновскую армию, анархистские резолюции нимало не трогали: они воевали за хлеб и за землю и в 1920 году еще не проиграли этой войны. Махно – не вопреки, а благодаря своей жестокости – оказался неплохим охранителем. Есть две впечатляющие цифры. Если в среднем по Украине процент изъятия хлеба у крестьян составлял около одной трети задания, то в «махновской» Александровской губернии он был ничтожно мал – всего 3,1 %. Практически здесь продразверстка была парализована, изъять не удалось ничего. Да и некому было особенно изымать: в той же Александровской губернии к ноябрю 1920 года удалось организовать всего 54 комитета незаможных селян, тогда как в Киевской их было 1274. Махно все еще оставался хозяином в своем районе...

Махновцы простояли в Старобельске по своим меркам очень долго, почти месяц, никого не беспокоя: им нужен был отдых, нужно было подлечить батьку. В Старобельске-то и сыскался фотограф, который запечатлел махновский штаб, раненого Махно в госпитале, раненых Махно и Куриленко в компании друзей, с сестрой милосердия на первом плане...

Опять была осень, облетающая листва. Время тянулось, нужно было что-то решать. Поляки были отброшены назад, в Польшу. Красные перебрасывали все силы на Южный фронт. В сентябре врангелевцы занимали уже Синельниково, Александровск, Гуляй-Поле...

Махно был неглуп и, конечно, сознавал, что Барон во многом прав и, сколько ни жги, ни режь, – крестьянской проблемы так не решить. Он чувствовал, что решение ее возможно лишь на политическом уровне. В этом смысле то, что «Набат» отвернулся от него, конечно, травмировало Махно. «Своего» проводника в высших сферах политики у него не было. Махновщина была паровой машиной без привода: пар клокотал в ней, но не совершал никакой полезной работы. Нужно было найти способ эту клокочущую энергию как-то направить в механизм действующей политики.

Внезапное событие вдруг приоткрыло надежду на эту возможность. 20 сентября в Старобельск приехал уполномоченный РВС Южфронта с предложением начать переговоры о заключении союза против Врангеля.

Версия #1

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ создал 2 апреля 2025 11:20:35

■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ обновил 2 апреля 2025 11:21:01